

ЭМИЛЬ ЧЁРАН

СУМЕРКИ МЫСЛЕЙ



ТОТЕНБУРГ

МОСКВА 2026

УДК 82-94
ББК 84-6
Ч45

*Все права на книгу находятся под охраной издателей.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена каким-либо
способом без согласования с издателями.*

*Перевод с румынского, вводная статья, исследовательская часть
и комментарии к. филос. н. Р. С. Гранина.*

Чёран, Э.

Ч45 Сумерки мыслей. — М.: Тотенбург, 2026. — 234 с.

Книга «Сумерки мыслей» (рум. Amurgul gândurilor) — пятая, заключительная в «румынском пятикнижии» Эмиля Чёрана (Emil Cioran; 1911–1995), написанная в Париже в 1940 году, накануне полного перехода мыслителя на французский язык. Название книги — оммаж «Сумеркам идолов» Ницше, — но если Ницше философствует молотом, то Чёран философствует кинжалом. Его орудие — не дистанция, а рана. Каждый афоризм — точнее, антиафоризм — не завершает смысл, а вскрывает его болезненную невозможность. Эта книга — не философский трактат в привычном смысле, она не выстраивает систему — она фиксирует внутренний распад сознания. Мысль у Чёрана становится не аргументом, а состоянием: бессонницей, лихорадкой, нервным напряжением. Стиль книги предельно фрагментарен и музыкален. Чёран мыслит не системой, а вспышками — как будто каждая фраза может оказаться последней. «Сумерки мыслей» — это философия предела, написанная человеком, который переживает сознание как рану и превращает мысль в кинжал, направленный прежде всего против самого себя («Я емь рана и кинжал»). Чёран говорит о Боге как о немоющем старце, о скуке — как об онтологическом откровении, о времени — как о демонической субстанции. Он цитирует мистиков, проклинает святых, тоскует по спасению и тут же выплевывает богохульство. Это негативная мистика человека, который утратил рай, но не утратил память о нем. Эта книга — черное зеркало, в котором каждый узнает не столько свое лицо, сколько свое одиночество.

Для широкого круга интеллектуалов.

**УДК 82-94
ББК 84-6**

© Р. С. Гранин,
перевод с румынского,
вводная статья, исследовательская часть,
комментарии

© Издательство «Тотенбург», 2026

Содержание

Сумерки мыслей, или Как философствуют кинжалом. (Предисловие переводчика).....	4
---	---

СУМЕРКИ МЫСЛЕЙ

I.....	23
II	43
III.....	61
IV.....	78
V.....	97
VI.....	113
VII.....	129
VIII.....	142
IX.....	156
X.....	171
XI.....	185
XII.....	196
XIII.....	208
XIV.....	219

Сумерки мыслей, или Как философствуют кинжалом

(Предисловие переводчика)

Ни один современный писатель
не поворачивает нож с ловкостью Чёрана...
Его творчество... наполнено горечью
подлинного сострадания.

Билл Маркс Boston Phoenix

Книга «Сумерки мыслей»¹ (рум. *Amurgul g [â/i] ndurilor*²) была задумана и написана Чёраном³ в Париже в 1940 году, где он живет уже три года и возвращаться на родину не собирается, но и сменить родной язык на французский еще не решается. Это его пятая румыно-

¹ Первое издание: *Cioran E. Amurgul gândurilor. Sibiu: Dacia Traiană, 1940. 282 p.*

² Румынское слово *gândurilor* («мыслей») Чёраном писалось в старой орфографии через букву «â» (рус. «ы»), после реформы 1953 года введено написание через «î» (тоже русское «ы») почти во всех позициях (вместо «â»); 1964-й — частичный возврат к «â» внутри слова. 1993-й — современная реформа: восстановлено правило: «â» внутри слова, «î» в начале и конце. Поэтому встречаются варианты написания как через «â» — *Amurgul gândurilor*, так и «î» — *Amurgul gândurilor*. Это не просто орфографическая деталь — это звук гортанный, темный, почти телесный, идеально соответствующий чёрановской одержимости кровью, плотью и их метафизическим изломам.

³ Мы пишем фамилию *Cioran* как Чёран через безударную «ё», чтобы подчеркнуть ее славянскую этимологию — происхождение от корня [чер]ный. Так, по мнению специалиста по румынской генеалогии Михая Рэдулеску, слово «сіог-» может быть заимствованием от славянского «сѣогн-» — «черный», через староболгарский или южнославянские диалекты, и может восходить к старославянскому «сѣгн- / сѣгн-», к праславянской форме слова «черный» — «сѣгпъ»; болг. — черен, серб. — чрн, рус. — черный (*Rădulescu M.S. Despre genealogia lui Emil Cioran // Genealogii. Bucuresti: Vremea, 2018, pp. 129–134*). Е в безударной позиции вполне допустима в ряде случаев: например, фамилии его земляков с Балкан — сербо-венгерского поэта Шандора Пётефи (венг. *Petőfi Sándor* [ˈpetøːfi ˈjaːndor]; 1823–1849) и венгерского математика Пала Эрдеша (венг. *Pál Erdős*; 1913–1996) — передаются через безударную «е», как и фамилия японского императора Есихито (Гранин Р. С. Поэтика Эмиля Чёрана. Издание в 3 томах. М.: Тотенбург, Т. I, 2025, с. 27–35).

зычная книга, опубликованная им в предвоенной Румынии. Поэтому мы назвали эти пять текстов «румынское пятикнижие» Чёрана, по примеру «Великого пятикнижия» Достоевского — любимого автора Чёрана. Это: «На вершинах отчаяния» (1934); «Книга иллюзий» (1936); «Преображение Румынии» (1936, переиздана в 1940-м); «Слезы и святые» (1937); «Сумерки мыслей» (1940) (см. список литературы). Другие четыре книги на румынском языке пролежат в виде неизданных черновиков более полувека и будут опубликованы уже в посткоммунистической Румынии, две — незадолго до смерти Чёрана, другие две — уже после. Это, соответственно: (6-я книга) «Из Франции» (1941)⁴; (7) «Бревиарий побежденных» (ок. 1944)⁵; (8) «Записки одного проклятого» (ок. 1945)⁶ и (9) «Разное» (ок. 1946)⁷.

Есть книги, которые рождаются из системы. Есть книги, возникающие из опыта. И существуют книги, написанные так, словно их автор не мыслит, а истекает мыслью. «Сумерки мыслей» принадлежат именно к этому редкому виду. Их невозможно читать как трактат; еще менее — как философию в академическом смысле. Эта книга не строит здание идеи: она разрушает внутренние подпорки существования. Она не доказывает, а заражает. Не убеждает, а погружает читателя в атмосферу, где

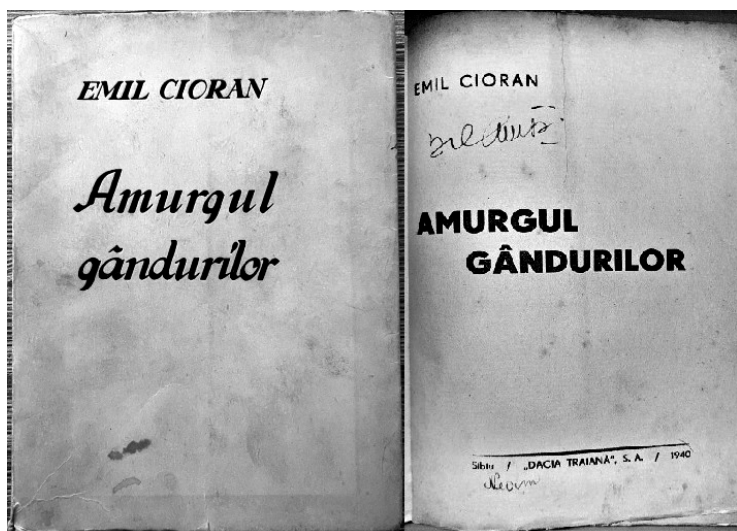
⁴ Первая публикация: *Cioran. Despre Franta. București: Humanitas, 1991.* — 103 p.

⁵ Оригинал на румынском — *Îndreptar pătimăș* («Путеводитель для страстных»), или во французском переводе — *Bréviaire des vaincus* — «Бревиарий побежденных». Написан между 1941/1942 и 1943/1944 годами в оккупированном немецкими войсками Париже. Первый тираж в Румынии — издательство *Humanitas*, Бухарест, 1991. Французский перевод — *Bréviaire des vaincus* — издательство *Gallimard*, Париж, 1993. Выдержали несколько переизданий. Второй том — *Bréviaire des vaincus, II* — является переработанным черновиком рукописи с несколько измененным порядком глав, обнаруженным после смерти Чёрана, издан *Éditions de L'Herne*, Париж, 2011 (см. список литературы).

⁶ Или во французском переводе, который был издан первым, «Окна в ничто», (соответственно: *Cioran. Carnetul unui afurisit. București: Humanitas, 2021.* 244 p. и *Cioran. Fenêtre sur le Rien. Paris: Gallimard, 2019.* 231 p).

⁷ *Cioran. Razne. București: Humanitas, 2012,* 128 p.

мысль начинает походить на бессонницу. Уже само название книги (явный оммаж на «Сумерки идолов» Ницше) вступает в тайный диалог с несколькими великими произведениями европейского духа. В памяти немедленно всплывают «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом» Фридриха Ницше (1888), «Закат Европы» Освальда Шпенглера (1918; 1922), и где-то в стороне, но одновременно в глубине всей этой духовной географии, мерцает «Свет невечерний. Созерцания и умозрения» отца Сергия Булгакова (1917).



Первое издание «Сумерек мыслей»: Cioran E. *Amurgul gândurilor*. Sibiu: Dacia Traiană, 1940. 282 p.

Все эти книги словно говорят о времени суток европейского духа. У Шпенглера Европа переживает закат — грандиозное историческое утомление культуры, превращение органической цивилизации в цивилизацию позднюю, механическую и рефлексивную. История у него

мыслится как морфология: культуры стареют так же, как стареют организмы. В этом смысле Чёран — один из самых поздних людей Европы, человек уже не заката, а того, что наступает после него: сумеречной дрожи сознания, когда культура продолжает мыслить после того, как утратила основания для жизни. Шпенглер еще созерцает гибель с высоты историка. Чёран переживает ее нервами. Чёран мыслит, как человек, который наносит удары прежде всего самому себе. Его афоризм никогда не является чисто литературной формой. Это след внутреннего кровотечения. Его мысль всегда телесна: она дрожит, задыхается, впадает в экстаз, страдает бессонницей, испытывает головокружение перед временем. Недаром в ранних румынских книгах Чёрана (и особенно в «Сумерках мыслей») философские идеи почти всегда сопровождаются физиологическими образами: кровью, нервами, усталостью, обмороком, жаром, бессонницей. У него сознание не отделено от тела; напротив, мысль становится последней стадией болезни существования. Именно поэтому «Сумерки мыслей» невозможно отделить от опыта ночи.

Ночь у Чёрана — это и романтический символ, и метафизическая среда. В ней рушатся границы между жизнью и смертью, между Богом и пустотой, между молитвой и проклятием. Человек поздней (пост-) александрийской культуры (один из любимых образов Чёрана) уже не способен жить непосредственно: он вынужден бесконечно сознавать собственное существование. Отсюда одна из центральных интуиций Чёрана: животные живут, человек — старается жить. С этим связана и удивительная роль послеполуденного времени в его книгах. Одно из любимых выражений Чёрана — румынское *după-amiază* («послеполуденное время», «послеобеденный час», «вторая половина дня»). Оно постоянно возникает в «Сумерках мыслей» как особое состояние мира: усталость света, медленное угасание дня, томление сознания,

предчувствие вечера. «Послеполуденность» у Чёрана — это метафизическое время суток духа, его климат и время года. При упоминании полдня, в другой культурной плоскости, возникает образ почти утопического сияния «Полдня, XXII век» Аркадия и Бориса Стругацких (1959–1960). Но если у последних полдень становится образом зрелой, просветленной цивилизации будущего, то у Чёрана послеполуденное время обозначает противоположное: культуру, переживающую декаданс, усталость от собственного сознания. Утопия Стругацких обращена к будущему; Чёран живет так, словно будущее уже исчерпано. Полдень Стругацких — это свет науки, гармонии и человеческого преодоления. Послеобеденный час Чёрана — свет утомленный, склоняющийся к сумеркам, к бессоннице и внутреннему распаду. Но именно здесь возникает неожиданный парадокс. При всей своей репутации мыслителя отчаяния Чёран никогда не был простым нигилистом. Его тексты полны религиозной тоски. Бог присутствует у него почти на каждой странице — даже тогда, когда речь идет о пустоте, скуке, небытии или самоубийстве. Более того: отсутствие Бога у Чёрана переживается как форма Его присутствия. И потому рядом с «Сумерками мыслей» неожиданно возникает «Свет невечерний» Сергея Булгакова.

Булгаков говорит о Божественном свете, который не знает заката. Чёран же — о сознании, обреченном жить в сумерках. Но оба переживают одну и ту же драму: невозможность окончательно отказаться от Абсолюта. Только Булгаков идет путем преображения, а Чёран — путем разложения. Можно сказать, что вся книга Чёрана написана человеком, который утратил рай, но не утратил памяти о нем. Отсюда — странная двойственность его интонации. Он одновременно проклинает мир и тоскует по спасению. Его тексты полны богохульства, но это богохульство человека религиозного склада. Даже отрицая Бога, он продолжает говорить с Ним. Его отчаяние —

не атеистическое равнодушие, а форма метафизической зависимости. В этом отношении Чёран принадлежит к особой линии европейской культуры — линии «религиозных безверцев». Паскаль, Кьеркегор, Достоевский, Ницше, Шестов — все они в той или иной степени переживали Бога как проблему, рану, бездну или невозможность. Но Чёран радикализует эту традицию: у него само сознание становится формой падения. Человек у Чёрана — это существо, слишком поздно узнавшее о собственном существовании. Отсюда и его одержимость скукой. Скука у него — не только психологическое состояние, а онтологическое откровение. В скуке время перестает течь и начинает разлагаться. Человек ощущает не события, а само присутствие времени. Именно поэтому в «Сумерках мыслей» так часто появляются образы вечера, заката, сумерек, послеобеденной усталости, увядания света. Время здесь уже не исторично — оно атмосферно. Чёран вообще принадлежит к тем редким писателям, которые создают не систему идей, а климат сознания. Его невозможно пересказать. Из него можно только выйти — как выходят из музыки или болезни.

Многие страницы «Сумерек мыслей» напоминают музыкальные фрагменты. Недаром среди важнейших фигур его внутреннего мира постоянно появляются Бах и Вагнер, Бетховен и Моцарт. Музыка для Чёрана — единственное искусство, способное примирить жизнь и смерть, время и вечность. Он пишет, что музыка — это «распад Абсолюта». Возможно, именно поэтому его собственная проза столь музыкальна: она движется не логикой аргумента, а ритмом внутреннего напряжения. А его афоризмы (точнее было бы сказать — антиафоризмы⁸) — это ритм,

⁸ Антиафоризм Чёрана, по нашему определению, — это предельная форма философского фрагмента, в которой афоризм утрачивает свою классическую функцию мудрого, законченного высказывания и обращается против самого себя. В отличие от традиционного афоризма, стремящегося к ясности, истине и интеллектуальному равновесию, антиафоризм разрушает собственную форму

дыхание, каденция. Каждая фраза существует отдельно, как вспышка сознания. Между афоризмами — не логическая связь, а нервная. Они соединяются не понятием, а интонацией. Читатель не продвигается по книге — он постепенно заражается ее состоянием. И все же за этой фрагментарностью скрывается удивительное единство. «Сумерки мыслей» — книга о предельном сознании, которое больше не может опираться ни на историю, ни на прогресс, ни на религию, ни даже на собственное «я». Все оказывается подточено внутренней эрозией. Остается лишь голос — дрожащий, музыкальный, беспощадный к себе. Но именно здесь Чёран достигает странного величия. Он не утешает. Не спасает. Не предлагает выхода. И тем не менее его книги действуют освобождаяще. Потому что в эпоху, одержимую оптимизмом, прогрессом и психологическим комфортом, Чёран возвращает трагическому опыту его достоинство. Он показывает, что отчаяние тоже может быть формой ясности, а безутешность — формой истины. Его философия напоминает сумерки не потому, что в ней мало света, а потому, что свет в ней уже неотделим от угасания. И, быть может, именно поэтому Чёран остается одним из самых современных писателей Европы. Не мыслителем системы, а мыслителем внутреннего предела. Не пророком будущего, а хроникером усталости сознания. Он пишет так, словно каждая мысль может оказаться последней. Так философствуют кинжалом.

изнутри: он не завершает мысль, а обнажает ее невозможность. У Чёрана антиафоризм принимает характер оракульного, парадоксального и самоотрицающего высказывания — своеобразного «пророчества без откровения». Это одновременно абсурдный лозунг, метафизический обломок, высказывание обратной перспективы и «гимносфическая» формула, лишенная системности и окончательного смысла. Антиафоризм не объясняет мир, а фиксирует трещину в нем. Он действует не как тезис, а как нервный разряд, как мгновенное столкновение сознания с пустотой, скукой, распадом или Абсолютом. Поэтому фрагменты Чёрана невозможно окончательно свести к философской системе: каждый из них представляет собой автономный срез опыта — «способ нарезки» реальности, в котором мысль переживает собственное самоуничтожение.

Если у Ницше молот — инструмент испытания: им простукивают идолов, чтобы проверить, не пусты ли они внутри. Ницше сохранял в себе остаток дионисийской энергии, трагического восторга, великого «да» жизни — даже тогда, когда разрушал ее ценности. Чёран идет дальше. У него уже нет молота, потому что разрушать больше нечего. Остались только осколки сознания, бессонница, скука, экстаз и ощущение внутреннего распада. Поэтому его инструмент — не молот, а кинжал (весьма частотный образ его афоризмов). Молот еще предполагает дистанцию между философом и миром. Кинжал требует раны: «Не в силах открыть людям причины нашего сердца, без Бога мы должны были бы ржавить кинжалы в его тайниках» («Сумерки мыслей»). Для Чёрана кинжал — не только орудие убийства («Рука твердо убежденного в своей правоте человека тянется к кинжалу; горящие глаза предвещают убийство»⁹), но и фундаментальная философская категория, форма познания («Идея обратимости — теоретический кинжал»¹⁰), стилистический принцип и экзистенциальная поза («каждая секунда вонзается в нас, подобно кинжалу»¹¹). Его мысль точит лезвие, его афоризмы — это уколы, а сам акт письма превращается в символическое насилие над иллюзиями: «Тот, у кого нет эмоции Абсолюта с рукой на кинжале, ничего не подозревает о металлическом ужасе сознания»¹², — провозглашает Чёран. Здесь кинжал — это орудие радикальной ясности, символ готовности вскрыть гнойники бытия. Речь идет не о физическом насилии, а о метафизической решимости дойти до предела, до той

⁹ Сиоран. О разложении основ // Искушение существованием. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 15.

¹⁰ Чёран Э. Бревиарий побежденных / Пер. с рум. Р. С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2026. — С. 126.

¹¹ Сиоран. О разложении основ // Искушение существованием. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 64.

¹² Чёран Э. Слезы и святые / Перевод с румынского Р. С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025. — С. 156.

острой точки, где сознание, сталкиваясь с абсурдом и болью мира, закаляется, как сталь. Этот «металлический ужас» — пронзительное осознание истины, лишенной всяких покровов утешения. Философствовать кинжалом — значит, отсекал все лишнее: надежду, веру в прогресс, доверие к разуму, оставляя лишь голый, неприкрашенный факт существования. При этом: «Сознание — не просто заноза. Это кинжал, воткнутый в живую плоть»¹³. Самый парадоксальный и потому чисто чёрановский жест — это вторжение кинжала в сферу сакрального: «Если бы я жил среди святых, я бы спрятал при себе кинжал»¹⁴, — заявляет он. А в другом месте приходит к «сладоэрастной галлюцинации — вообразить нимб святого с кинжалом в руке»¹⁵. Это не кощунство ради кощунства, а глубокая деконструкция идеи святости. Чёран подозревает, что за смиренным фасадом святого может скрываться та же буря страстей, отчаяния и бунта, что и в душе грешника: «...они умудрялись сочетать Евангелие с живодерством, распятие — с кинжалом. В свои звездные часы католицизм был кровожадным, как и подобает любой настоящей вдохновенной религии»¹⁶. Кинжал под рясой или в руке под нимбом — это символ подавленной агрессии, сомнения, мятежа против Бога. Это орудие, которое вскрывает противоречивость любой, даже самой возвышенной, духовной практики (это орудие лежит в той же метафизической плоскости, что и бритва Оккама или гильотина Юма).

Само творчество Чёрана — это воплощение его же мечты: «Мне бы хотелось, чтобы слова молитвы разлили,

¹³ Сиоран, Э. М. О злополучии появления на свет (фрагменты из произведения) // Горькие силлогизмы. — М.: Алгоритм; Эксмо, 2008. — С. 198.

¹⁴ Там же. С. 88.

¹⁵ Там же. С. 178.

¹⁶ Сиоран. Искушение существованием // Искушение существованием / Пер. с фр. В.А. Никитина, ред., прим. И. С. Вдовиной. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 168.

как кинжал»¹⁷, или «Почему мое сердце не море крови без дна, чтобы излить ее на мир и скрыть его пятна в красном и вселенском сиянии? Тогда мир заслужил бы жертву крови, и кинжал, вонзенный в сердце, решил бы проблему спасения» («Книга иллюзий»). Его афоризмы коротки, отточены и смертельно точны. Они не убеждают логикой развернутого трактата, а поражают — как удар стилетом. Его мысль отказывается от «толстых» книг систематической философии в пользу фрагмента, который ранит и заставляет истекать смыслом. Эта стилистика — прямое следствие его мироощущения: «Мы слишком много говорим о любви и забываем — о кинжалах, дремлющих в душе, о взглядах, что точат лезвие...»¹⁸. Письмо для Чёрана и есть этот взгляд, точащий лезвие, выплеск дремлющей в душе агрессии, превращенной в искусство: «...от отчаяния вынужденного убивать не действуя, а одной лишь силой слова, этим незримым кинжалом. Пути жестокости разнообразны»¹⁹. Кинжал у Чёрана участвует в космологии: «Пейзаж нашего внутреннего ада вонзил бы отвращению кинжалы, которые оно обратило бы против нас. Архангел там — сутенер, змеи свиваются на грудях, улыбка девы гноится, тень цветка не чище брани подлунной потаскухи»²⁰. Или: «Сделай свое сердце чашей последнего глотка, прежде чем улыбки космоса, превратившись в кинжалы, соблазнят тебя»²¹. Особая чёрановская интонация — это «веселость, наносящая смертельные удары... шутовство, прячущая под улыбкой

¹⁷ Сиоран Э. М. О злополучии появления на свет (фрагменты из произведения) // Горькие силлогизмы. — М.: Алгоритм; Эксмо, 2008. — С. 228.

¹⁸ Чёран, Э. Слезы и святые / Перевод с румынского Р. С. Гранин. — М.: Топенбург, 2025. — С. 210–211.

¹⁹ Сиоран. История и утопия // Искушение существованием / Пер. с фр., предисл. В. А. Никитина; ред., прим. И. С. Вдовиной. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 305.

²⁰ Там же. С. 103.

²¹ Там же. С. 116.

кинжал...»²². Его пессимизм лишен тяжеловесности и надрыва. Он атакует с улыбкой, его отчаяние изящно. Эта маска шута, за которой скрывается острое лезвие мысли, делает его критику еще более эффективной. «Он грезит, опираясь лбом на кинжал, как бы заранее разочаровавшийся во всех преступлениях...»²³. «Кто из нас, сибаритов скорби и отпрысков мазохистской традиции, стал бы колебаться между Бенаресской проповедью и рассуждениями "Наедине с собой" Марка Аврелия? "Я есмь рана и кинжал" — вот наш абсолют и наша вечность»²⁴. Неожиданная шутка, ироничный поворот обнажают абсурдность существования куда вернее, чем пафосное обличение: «Когда звезды превратятся в кинжалы и мое сердце устремится к ним, все они вместе не разорвут его настолько, чтобы скорбь не прочертила на синеве сводов свой мятежный след» («Сумерки мыслей»).

Именно так и следует понимать слова критика, приведенные в качестве эпиграфа к этому предисловию, о «горечи подлинного сострадания», что наполняет творчество Чёрана. Его кинжал — не орудие садиста, а инструмент хирурга, который причиняет боль, чтобы вскрыть правду, например. Философствуя кинжалом, Чёран совершает вивисекцию человеческой души, культуры, веры и философии, демонстрируя, что под тонким слоем цивилизации дремлют темные, острые и безжалостные истины, и единственный способ быть честным — это встретиться с лезвием в руке.

«Сумерки мыслей» — книга, написанная по-румынски, в столице франкофонного мира, в которой ее

²² Сиоран. О разложении основ // Искушение существованием. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 128.

²³ Там же. С. 134.

²⁴ Сиоран. Искушение существованием // Искушение существованием / Пер. с фр. В. А. Никитина, ред., прим. И. С. Вдовиной. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 149.

автор живет уже три года, через шесть лет он начнет писать свою первую франкоязычную книгу — «О разложении основ», которая прославит его на всю Францию, а впоследствии — и мир. Жить три года во Франции, но продолжать писать по-румынски, а через шесть лет полностью отказаться от родного языка и перейти на французский: такие переходные тексты мы называли «текстом-фронтиром», их совокупность — «текстами-фронтами» или «метатекстом-фронтиром»²⁵. Чёран принадлежит к числу тех редких авторов, чья слава оказалась почти полностью оторвана от языка, на котором они начинали. Французский Чёран — изысканный, афористичный, беспощадный и усталый — давно стал частью европейского философского канона. Румынский Чёран остался в тени. Но именно в ранних румынских текстах уже полностью присутствует чёрановский жест: мысль, которая не доказывает, а исходит из бытия; афоризм, который не закрывает смысл, а вскрывает абсцесс; интонация, балансирующая между экстатической молитвой и богохульством, между циничной улыбкой и содроганием перед лицом ничто. Книга «Сумерки мыслей» вышла в румынском «саксонском» городе Сибиу в 1940 году, когда автору было двадцать девять лет. Это был год, когда Румыния теряла Бессарабию и Северную Буковину, когда в Европе уже полыхала война, а Чёран, перебравшийся в Париж по стипендии Французского института, начинал медленный и мучительный переход на другой язык. «Сумерки» стали одновременно итогом румынского периода и его катастрофой — в том смысле, в каком катастрофа есть предел, за которым начинается нечто иное.

²⁵ Подробнее об этом смотреть: Гранин, Р. С. Начало ведения «Чёрного дневника» (1957) как фронтир между первым (1949–1956) и вторым (1960–1987) французским периодом Чёрана: между генезисом стиля и его декомпозицией // Чёран Э. Чёрный дневник (1957–1972). Том II (1965–1967). Пер. с фр. Р. С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025. — С. 12–23.

Структурно книга представляет собой не систематический трактат, а поток афоризмов, медитаций и фрагментов, сгруппированных в четырнадцать неравных глав (от I до XIV). Однако даже это деление условно: Чёран не столько строит здание, сколько разбирает его на части, чтобы показать, что никакое здание не выдержит тяжести одного подлинного вопроса. Вопросы здесь одни и те же: одиночество, время, Бог, смерть, любовь, музыка, женщина, болезнь, скука, самоубийство, святость, цинизм. Но они не «рассматриваются», а проживаются — с такой интенсивностью, что традиционная философская лексика трескается и начинает петь.

Ключевая особенность «Сумерек» — их крайний субъективизм. Если более поздний, французский Чёран часто играет роль стоического наблюдателя, который пересчитывает трупы иллюзий с сухой иронией судмедэксперта, то румынский Чёран 1940 года еще горит. Он еще верит (даже если эта вера направлена на отрицание), еще взывает к Богу, еще прокликает, еще плачет. Румынский язык, с его архаическими оттенками, церковнославянскими корнями и гибким синтаксисом, позволяет Чёрану делать то, на что французский, при всей его точности, едва ли способен: он позволяет ему звучать как псалмопевцу, который забыл, кому молится.

Тематический спектр книги огромен. Чёран говорит о времени как о «демонической субстанции»; о печали — как о «гениальности материи»; о раскаянии — как о «предельном динамизме», который ничего не решает, но все начинает. Он пишет о Диогене, который стал бы святым, родись он после Христа; о Сузо, вырезавшем имя Иисуса на сердце; о Шатобриане и Люсиль, о Вагнере и Бахе. Он анализирует цинизм как «постчеловеческое» состояние, меланхолию — как «религиозность без необходимости абсолюта», улыбку — как «завещание индивида», и скуку — как «вдовый траур сознания, отделенного от жизни».

Однако главное, что отличает «Сумерки мыслей» от других книг Чёрана, — это их открытая теологическая напряженность. В более поздних французских текстах Бог чаще всего исчезает, оставляя после себя пустоту, которую Чёран обживает с меланхоличным комфортом. Здесь Бог присутствует, даже когда его отрицают. Он — собеседник, противник, немощный старец (*Moşneag*), которому Чёран бросает в лицо: «Делай, Господи, что еще можешь, пока я не швырнул Тебе в голову Твои же кости!» Или: «Я хотел опереться на Тебя — и упал; Ты захотел опереться на меня — Тебе уже не на что было падать». Это не атеизм и не теизм. Это — странное, почти одержимое присутствие-в-отсутствии, которое и составляет нерв чёрановского религиозного чувства.

С этой точки зрения «Сумерки» могут быть прочитаны как своего рода негативная мистика. Чёрана интересуют не пути к Богу, а пути от Него — и одновременно те невидимые нити, которые продолжают связывать человека с Творцом даже после того, как все молитвы иссякли и все надежды сожжены. «Святые, безумцы и самоубийцы, — пишет он, — кажется, нашли это нечто, существенную и скрытую двусмысленность, которая сдерживает дух в его последней гордости». «Сумерки» — это попытка заглянуть в эту двусмысленность, не закрывая глаз.

Стилистически книга представляет собой вызов для читателя, привыкшего к линейной аргументации. Чёран работает парадоксом, скачком, внезапным обрывом. «Метод и система — смерть мысли, — утверждает он. — Даже Бог мыслит фрагментарно; абсолютными фрагментами». В этом смысле «Сумерки мыслей» — идеальная реализация собственного заявленного принципа: мысль здесь не развивается, а сверкает, каждый раз загораясь и угасая, как молния в ночном небе, которое уже никогда не станет днем. Эта книга — не для утешения. Она для тех, кто уже знает, что утешений нет. Но она — странным образом — дает облегчение. Пото-

му что читать Чёрана — значит слышать, как кто-то другой с точностью и красотой произносит твою собственную невозможность быть человеком и твою же невозможность перестать им быть. Это не философия спасения. Это философия как агония. И именно поэтому — как свидетельство, как документ, как исповедь — она стоит того, чтобы ее переводили и читали.

Данное издание основано на первом издании 1940 года (Сибиу, издательство *Dacia traiană*), с учетом позднейших румынских публикаций. Мы также сочли необходимым сохранить библейские отсылки, имена мистиков и поэтов, а также редкие французские и латинские вкрапления в подлинном виде — с пояснениями там, где это необходимо для понимания. Пусть эта книга станет для русского читателя тем, чем она была для румынского во семьдесят шесть лет назад: вызовом, утешением без утешения и темным зеркалом, в котором каждый одинокий человек узнает не свое лицо, а свое одиночество.

Список использованной литературы

«Румынское пятикнижие» (в хронологическом порядке):

1. Cioran, E. Pe culmile disperării [«На вершинах отчаяния»]. Bucureşti: Fundația pentru Literatură și Artă «Regele Carol II», 1934. 166 p.

2. Cioran, E. Cartea amăgirilor [«Книга иллюзий»]. Bucureşti: Editura Vremea, 1936, 190 p.

3. Cioran, E. Schimbarea la față a României [«Преображение Румынии»]. Bucureşti: Editura Vremea, 1936, 234 p.

4. Cioran, E. Lacrimi și sfinți [«Слезы и святые»]. Bucureşti: Editura autorului, 1937, 250 p.

5. Cioran, E. Amurgul gândurilor [«Сумерки мыслей»]. Sibiu: Dacia Traiană, 1940, 282 p.

Другие румынские тексты (в хронологическом порядке):

6. Cioran. Despre Franța [Из Франции, 1941]. București: Humanitas, 1991, 108 p.

7. Cioran, E. Îndreptar pătimăș [«Страстный наставник» ок. 1944; на французский переведен как «Бревиарий побежденных»]. — București: Humanitas, 1991, 126 p.

8. Cioran. Fenêtre sur le Rien [«Окна в ничто», ок. 1945, издано вначале на французском] / Trad. N. Cavallès. — Paris: Gallimard, 2019. 231 p.; она же в румынском издании: Cioran. Carnetul unui afurisit [«Записки одного проклятого»] / Stabilirea textului, prefață, note și variante de C. Zaharia. — București: Humanitas, 2021, 244 p.

9. Cioran. Razne [«Разное», ок. 1946] / Stabilirea textului, prefață și note de C. Zaharia. — București: Humanitas, 2012, 128 p.

Исследования и переводы:

10. Гранин, Р. С. Начало ведения «Чёрного дневника» (1957) как фронтир между первым (1949–1956) и вторым (1960–1987) французским периодом Чёрана: между генезисом стиля и его декомпозицией // Чёран, Э. Чёрный дневник (1957–1972). Том II (1965–1967). Пер. с фр. Р. С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025. — С. 12–23.

11. Гранин, Р. С. Поэтика Эмиля Чёрана. Издание в 3 томах. — М.: Тотенбург, 2025–2026.

12. Гранин, Р. С. Эмиль Чёран. Приближение к ускользающему философу. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. — 126 с.

13. Сиоран. Испытание существованием // Испытание существованием / Пер. с фр. В. А. Никитина, ред., прим. И. С. Вдовиной. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 144–271.

14. Сиоран. История и утопия // Искушение существованием / Пер. с фр., предисл. В. А. Никитина; ред., прим. И. С. Вдовиной. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 272–338.

15. Сиоран, Э. М. О злополучии появления на свет (фрагменты из произведения) // Горькие силлогизмы. — М.: Алгоритм; Эксмо, 2008. — С. 146–366.

16. Сиоран. О разложении основ // Искушение существованием. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. — С. 14–142.

17. Чёран, Э. Бревиарий побежденных / Пер. с рум. Р. С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2026. — 138 с.

18. Чёран, Э. Слезы и святые / Перевод с румынского Р. С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025. — 300 с.

19. Чёран, Э. Чёрный дневник (1957–1972). Изд. в 4 томах. / Пер. с фр. Р. С. Гранин. — М.: Тотенбург, 2025–2026.

20. Rădulescu, M.S. Despre genealogia lui Emil Cioran // Genealogii. — Bucuresti: Vremea, 2018, pp. 129–134.

СУМЕРКИ МЫСЛЕЙ

*Посадите этого в темницу, и
кормите его хлебом и водою судною.*

Вторая книга Паралипомена 18:26²⁶

²⁶ У Черана: *...hrăniți-l cu pâinea și cu a pa întristării*. Cronici 2,18. Букв. «кормите его хлебом скорби и поите его водой печали».

Ты легко можешь сказать, что вселенная лишена всякого смысла. Никто не обидится. Но скажи то же самое о каком-нибудь человеке — он возмутится и даже попытается тебя наказать.

Таковы мы все: мы снимаем с себя ответственность, когда речь идет об общем принципе, и не стыдимся укрываться в собственной исключительности.

Если у вселенной нет смысла — разве кто-нибудь из нас избежал проклятия этого приговора?

Вся тайна жизни сводится к одному: у нее нет никакого смысла — но каждый из нас находит для нее свой.

Одиночество не учит тебя тому, что ты один, — оно учит, что ты единственный.

Бог имеет все основания оберегать свои истины. Порой одного пожатия плеч достаточно, чтобы их разрушить, ибо мысли уже давно их подточили. Если даже червь способен на метафизическую тревогу — он способен нарушить и его сон.

Мысль о Боге — препятствие самоубийству, но не смерти. Она несколько не смягчает ту тьму, которой, должно быть, испугался Бог в те времена, когда нащупывал свой пульс в ужасе ничто...

Говорят, Диоген Синопский занимался фальшивомонетничеством. Всякий, кто не верит в абсолютную истину, имеет право подделывать все.

Родись Диоген после Христа — он стал бы святым. К чему может привести восхищение киниками и две тысячи лет христианства? К нежному Диогену...

Платон называл Диогена безумным Сократом. Трудно теперь спасти самого Сократа...

Если бы заговорило глухое волнение во мне, каждый жест стал бы коленопреклонением у стены плача. Я ношу траур с самого рождения — траур по этому миру.

Все, что не есть забвение, изнашивает нашу сущность; угрызение совести — противоположность забвению. Поэтому оно и восстает угрожающе, как древний монстр, способный поразить тебя взглядом или наполнить мгновения ощущением расплавленного свинца в крови.

Простые люди испытывают угрызания после какого-то поступка: они знают, почему — причины у них перед глазами. Напрасно говорить им о «приступах» — они не поймут силы беспричинной муки.

Метафизическое угрызение совести — это тревога без причины, этическое беспокойство на краю жизни. Ты не совершил ничего, о чем стоило бы сожалеть, и все же тебя мучает раскаяние. Ты ничего не помнишь — но тебя настигает бесконечная боль прошлого. Ты не сделал зла — но чувствуешь себя ответственным за зло всего мира. Ощущения Сатаны в бреду скрупулезности. Принцип Зла — в сетях этических проблем и в непосредственном ужасе решений.

Чем менее ты безразличен ко злу, тем ближе ты к сущностному раскаянию. Иногда оно смутно и двусмысленно: тогда ты несешь бремя отсутствия Добра.

Фиолетовый — цвет раскаяния. (Его странность рождается из борьбы между легкомыслием и меланхолией, с торжеством последней.)

Раскаяние — эстетическая форма сожаления (сожаления становятся проблемами, а не просто печальями), сожаления, возведенного в ранг страдания.

Оно ничего не решает, но с него все начинается. Появление морали тождественно первому трепету раскаяния.

Болезненная динамика превращает его в роскошную и тщеславную трату души. Только море — и сигаретный дым — могут передать нам его образ.

Грех — религиозное выражение раскаяния, как сожаление — его поэтическое выражение. Первое — высшая граница, второе — низшая.

Ты раскаиваешься в том, что произошло ниже тебя... Ты был свободен направить ход вещей, но притяжение зла или вульгарности победило этическое размышление. Двусмысленность рождается из смешения теологии и пошлости в любом раскаянии.

Нигде ты не чувствуешь необратимость времени так остро, как в нем. Неправимое — лишь моральная интерпретация этой необратимости.

Зло раскрывает нам демоническую сущность времени; добро — вечный потенциал становления. Зло — это оставленность; добро — вдохновенный расчет. Никто не умеет рационально их различать. Но мы все чувствуем болезненное тепло зла и экстатический холод добра.

Их дуализм переносит в мир ценностей другой, более глубокий дуализм: невинности и познания.

То, что отличает раскаяние от отчаяния, ненависти или ужаса, — это некая нежность, патетика неизлечимого.

Множество людей отделены от смерти лишь ностальгией. В этом смысле смерть создает из жизни зеркало, чтобы любоваться ею самой. Поэзия же — всего лишь инструмент похоронного нарциссизма.

И животные, и растения — печальны, но они не открыли печаль как способ познания. Лишь в той мере, в какой человек пользуется ею, он перестает быть природой. Оглянись: мы дарили дружбу растениям, животным, минералам — но ни одному человеку.

Мир — это лишь универсальное Нигде. Поэтому тебе никогда некуда идти...

Все те мгновения, когда жизнь замолкает, чтобы ты услышал свое одиночество... В Париже, как и в далекой деревне, время отступает, съеживается в углу сознания — и ты остаешься с самим собой, со своими тенями и светом. Душа изолируется и в неясных судорогах всплывает на поверхность, как тело, выловленное из глубины. И тогда ты понимаешь, что есть и иной смысл «потери души», помимо библейского.

Все мысли кажутся стонами рифмы, раздавленной ангелами.

Ты не поймешь, что такое «медитация», если не привык слушать тишину. Ее голос — призыв к отречению. Все религиозные посвящения — погружения в ее глубины. Тайну Будды я начал подозревать в тот миг, когда меня охватил страх перед тишиной. Космическое безмолвие говорит тебе столько, что трусость толкает тебя обратно в объятия мира.

Религия — это ослабленное откровение тишины, смягчение урока нигилизма, который внушают ее шепоты, отфильтрованные нашим страхом и осторожностью... Так тишина оказывается на противоположном полюсе жизни.

Сколько раз мне приходит на ум слово «блуждание», столько раз мне открывается человек. И всякий раз словно горы дремлют на моем лбу...

Сузо²⁷ рассказывает в своей автобиографии, что вырезал металлическим стилем имя Иисуса в области сердца. Кровь пролилась не напрасно: спустя время он обнаружил в этих буквах свет, который скрывал от глаз других. Что бы я написал у себя на сердце? Возможно: «Несчастье». И тогда удивление Сузо повторилось бы спустя века, если бы у дьявола было хоть немного света — хотя бы для собственной эмблемы... Так человеческое сердце стало бы светящейся рекламой Сатаны.

Есть поляны, где ангелы проводят лето. Там я посеял бы цветы с окраин пустынь, чтобы отдохнуть в тени собственного символа.

Нужно обладать духом греческого скептика и сердцем Иова, чтобы испытывать чувства в их чистоте: грех без вины, печаль без причины, раскаяние без основания, ненависть без объекта...

Чистые чувства — эквивалент философствования без проблем. Тогда ни жизнь, ни мышление не связаны более со временем, и существование определяется как приостановка. Все, что происходит в тебе, не соотносится ни с чем, потому что никуда не направлено, а исчерпывается в собственной внутренней завершенности. Ты становишься тем более сущностным, чем больше лишаешь свою «историю» временности. Взгляд к небу не имеет даты, а жизнь в себе самой менее локализуема, чем небытие.

Вместо тоски по абсолюту существует чистота неясности, которая должна исцелить нас от временных инфек-

²⁷ Генрих Сузо (*Heinrich Seuse*, также *Suso*; ок. 1295–1366) — немецкий монах-доминиканец, поэт и мистик. Он является одной из ключевых фигур немецкой мистики XIV века наряду со своим учителем Meisterом Экхартом и Иоганном Таулером.

ций и стать прообразом непрерывной приостановки. Ибо это — не что иное, как очищение сознания от времени.

Сколько раз, думая о человеке, жалость захлестывала мои мысли — и я не мог его постичь. Осколок в природе вынуждает к обрывочным размышлениям.

Страсть к святости заменяет алкоголь так же, как музыка. И так же — эротика и поэзия. Разные формы забвения, взаимозаменяемые. Пьяницы, святые, влюбленные и поэты изначально находятся на одинаковом расстоянии от неба — или, точнее, от земли. Различны лишь пути, хотя все они уже на грани того, чтобы перестать быть людьми. Вот почему наслаждение имманентностью одинаково их осуждает.

Застенчивость — инстинктивное презрение к жизни; цинизм — рациональное. А нежность? Тонкий закат ясности, «деградация» духа до уровня сердца.

В любой застенчивости есть религиозный оттенок: страх, что мы никому не принадлежим, что Бог — никто, а мир — его творение... Метафизическое недоверие рождает в нас природную неуклюжесть и социальную скованность. Недостаток дерзости — это следствие сомнения в самом существенном. Уверенный инстинкт и твердая вера дают право на дерзость — и даже вынуждают к ней. Застенчивость — это способ прикрыть сожаление. Ибо всякая дерзость — лишь форма отсутствия сожалений.

Когда у тебя больше нет иллюзий. Это как если бы ты стал зеркалом для интимного туалета жизни... Нет более трогательной тайны, чем любовь к жизни: она одна попирает все очевидности. Чтобы жизнь показалась абсолютной, нужно полностью перестать принадлежать миру. Только взгляд с небес дает такую перспективу.

Там, где появляется парадокс, умирает система и торжествует жизнь. Через него разум спасает свою честь перед иррациональным. Все смутное в жизни можно выразить лишь проклятием или гимном. Кто не умеет ни того, ни другого, имеет еще один выход: парадокс — формальная улыбка иррационального.

Что он с точки зрения логики? Безответственная игра. С точки зрения здравого смысла? Теоретическая аморальность. Но разве не в нем горят все неразрешимости, все бессмыслицы и конфликты, подтачивающие жизнь изнутри? Когда ее тревожные тени исповедуются разуму, он облекает их шепоты в элегантность парадокса, чтобы скрыть их происхождение.

Парадокс — не решение: он ничего не решает. Он — украшение непоправимого. Разум, утратив пафос, подслушивает шепот жизни и разрушает собственную автономию. В парадоксе он аннулирует себя, распаивает границы и уже не может остановить наплыв пульсирующих ошибок.

Теологи — паразиты парадокса. Без его неосознанного употребления они давно бы сложили оружие. Религиозный скептицизм — его сознательная практика. Все, что не умещается в разуме, становится поводом для сомнения; но в самом разуме нет ничего.

Отсюда плодотворный порыв парадоксального мышления, которое наполняет формы содержанием и узаконивает абсурд.

Если бы я был Моисеем, я извлекал бы своим жезлом не воду, а сожаления из скал. В любом случае — это тоже способ утолить жажду смертных...

Религиозность — это не вопрос содержания, а вопрос интенсивности. Бог определяется как момент нашей лихорадки, так что мир, в котором мы живем, становится

настолько редким объектом религиозной чувствительности, что мы можем думать о нем только в нейтральные моменты. Без «волнения» мы не выходим за пределы поля восприятия, то есть ничего не видим. Глаза служат Богу только тогда, когда не различают объекты; абсолют боится индивидуализации.

Не важно, какое именно ощущение является признаком религиозности. Максимальное отвращение открывает нам Зло (негативный путь к Богу). Порок более абсолютен, чем чистый инстинкт, потому что сопричастность к божественному возможна в той мере, в какой мы перестаем быть природой.

Проницательный человек измеряет свои «лихорадки» на каждом шагу, наблюдая собственные страсти, вечно идя по их следу, колеблясь в вымыслах своей печали. В состоянии ясности сознания познание является данью уважения физиологии.

Чем больше мы узнаем о себе, тем лучше мы соответствуем требованиям гигиены, заключающимся в достижении органической прозрачности. Благодаря такой чистоте мы начинаем видеть сквозь себя. Так мы приходим к самопознанию.

Источник святой истерии в монастырях — не что иное, как вслушивание в тишину, созерцание зрелища покоя одиночества. Но как быть с внутренней пульсацией Времени, с утратой сознания в колебании временных волн? Это источник светской истерии...

Время — метафизический суррогат моря. О нем думаешь лишь затем, чтобы преодолеть тоску по нему.

Если допустить во Вселенной хотя бы одно реальное бесконечно малое, то реально все; — если же не существует нечто, не существует ничего. Делать уступки

множественности и сводить все к иерархии видимостей — значит не иметь мужества отрицания. Теоретическая дистанция от жизни и сентиментальная слабость к ней приводят нас к колеблющемуся решению степеней нереальности, к некоему «за и против» самой природы.

Парадоксальная ситуация выражает сущностную неопределенность бытия. Вещи не устоялись. И как реальное положение, и как теоретическая форма — парадокс проистекает из условия несовершенства. Один-единственный — и он взорвал бы рай.

Случайность — оазисы произвола в пустыне Необходимости — недоступна формам разума, за исключением периода вмешательства подвижности, которая вносит беспокойство парадокса. Что это, если не демоническое вторжение в разум, переливание крови в Логику и страдание форм?

Решающий признак того, что мистики ничего не решили, но все поняли? Лавина парадоксов вблизи Бога, чтобы облегчить страх перед непостижимым. Мистика — высшее выражение парадоксального мышления. Сами святые пользовались этим инструментом неопределенности, чтобы «уточнить» непостижимое божественное.

Эфирные ощущения Времени, в которых пустота улыбается самой себе...

Меланхолия — туманный нимб Темпоральности.

Демоническое существование возводит каждое мгновение в достоинство события. Действие — смерть духа — исходит из сатанинского принципа, так что мы боремся постольку, поскольку нам есть что искупать. Более всего политическая деятельность есть бессознательное искупление.

Чувствительность ко времени проистекает из способности жить в настоящем. В каждое мгновение ты создаешь беспощадное движение времени, которое подменяет непосредственную динамику жизни. Ты уже не живешь во времени, а существуешь с ним, параллельно ему.

Будучи единым с жизнью, ты и есть время. Проживая его, умираешь вместе с ним — без сомнений и без муки. Совершенное здоровье достигается в темпоральной ассимиляции, тогда как болезнь есть равносильное расхождение. Чем яснее ты воспринимаешь время, тем глубже погружаешься в органическую дисгармонию.

Естественным образом прошлое растворяется в актуальности настоящего, суммируется и тает в нем. Сожаление — выражение обостренного чувства времени, чувства разложения настоящего — изолирует прошлое как актуальность и оживляет его посредством подлинно регрессивной оптики. Ибо в сожалении прошлое сохраняет добродетель возможного — непоправимое, превращенное в виртуальность.

Когда ты непрестанно знаешь, каким агентом разрушения является время, чувства, складывающиеся вокруг этого сознания, стремятся спасти его со всех сторон. Пророчество есть актуальность будущего, как сожаление — прошлого. Не будучи в состоянии пребывать в настоящем, мы превращаем прошлое и будущее в настоящее, так что нынешняя ничтожность времени облегчает нам доступ к его бесконечности.

Быть больным — значит жить в сознательном настоящем, в настоящем, прозрачном самому себе; ибо страх перед прошлым и будущим, перед тем, что было и что будет, раздувает мгновение до меры временной безмерности.

Больной, который мог бы жить наивно, не был бы, собственно, больным: можно быть пораженным раком, но если у тебя нет ужаса перед исходом (этим будущим,

которое бежит к нам, а не к которому мы бежим), ты здоров. Не существует болезней, есть лишь сознание их, всегда сопровождаемое гипертрофией чувства времени.

Разве не случается нам иногда ощупывать время, терять его между пальцами — в избытке интенсивности, придающем ему материальные очертания? Или, напротив, ощущать его как тонкое веяние в прядях волос? Быть может, оно устало? Ищет ли оно приюта? Есть сердца более утомленные, чем оно, и все же не отказавшие бы ему в убежище...

Зло, покинув изначальное безразличие, взяло себе псевдоним — Время.

Люди создали рай, профильтровав вечность, извлекая «эссенцию» вечного. Тот же прием, примененный к порядку временного, делает понятным страдание. Ибо что оно такое, если не «эссенция» времени?

После полуночи думаешь так, словно тебя уже нет в живых или — в лучшем случае — словно ты уже не ты. Ты становишься всего лишь орудием тишины, вечности или пустоты. Тебе кажется, что ты печален, и ты не знаешь, что это они дышат через тебя. Ты — жертва заговора темных сил, ибо из одного индивида не может родиться такая печаль, которая не помещалась бы в нем. Все, что превосходит нас, имеет источник вне нас. И удовольствие, и страдание. Мистики относили излияние восторгов экстаза к Богу, потому что не могли допустить, что индивидуальная ограниченность способна на такую полноту. Так происходит и с печалью, и со всем прочим. Ты один — но со всей полнотой одиночества.

Когда все минерализуется, сама ностальгия становится геометрией; скалы кажутся текучими по сравнению

с окаменением душевной неопределенности, а нюансы оказываются более бездонными, чем горы. Тогда тебе не нужно ничего, кроме дрожи и взгляда раздавленных собак, и какого-нибудь скрипящего часовщика из других веков — подушки для безумного лба.

Сколько раз, проходя сквозь туман, я легче раскрывался самому себе. Солнце отчуждает тебя, ибо, открывая тебе мир, оно связывает тебя своими иллюзиями. Но туман — это цвет горечи...

Приступы жалости предваряются состоянием общего ослабления, в котором ты идешь со страхом не упасть во все предметы, не раствориться в них. Жалость — патологическая форма интуитивного познания. И все же ее нельзя отнести к болезням: это обморок... вертикальный. Ты падаешь в направлении собственного одиночества.

Белые ночи — единственно черные — делают тебя настоящим ныряльщиком Времени. Ты спускаешься, спускаешься к его бездонности... Музыкальное и неопределенное погружение к корням временности остается незавершенным наслаждением, ибо мы не можем коснуться границ времени иначе как выскочив из него. Но этот прыжок делает нас внешними по отношению к нему: мы воспринимаем его пределы, но не сам его опыт. Приостановка превращает его в нереальность и лишает его внушения бесконечности — декора белых ночей.

Сон не имеет иной цели, кроме забвения времени, демонического принципа, который в нем бдит.

В церквях я часто думаю, каким великим делом была бы религия, если бы у нее не было верующих, а была бы лишь религиозная тревога Бога, о которой нам говорит оргán.

Посредственность философии объясняется тем, что мыслить можно только при пониженной температуре. Когда ты владеешь лихорадкой, ты расставляешь мысли как кукол; дергаешь идеи за ниточки, и публика не отказывается от иллюзии. Но когда каждый взгляд на самого себя — это пожар или кораблекрушение, когда внутренний пейзаж — это роскошное опустошение пламени, возникающего на горизонте морей, — тогда ты отпускаешь мысли, эти колонны, сотрясаемые эпилепсией внутреннего огня.

Если бы я знал, что хотя бы однажды был печален из-за людей, от стыда я сложил бы оружие. Их можно иногда любить или ненавидеть и всегда им сострадать, но внимание, уделенное печали, — это унижительная уступка. Мгновения божественной щедрости, в которых мы обняли бы всех, — редкие вдохновения, подлинные «милости».

Любовь к людям — болезнь тонизирующая и одновременно странная, ибо она не опирается ни на один элемент реальности. Психолог, любящий людей, до сих пор не существовал и, несомненно, никогда не будет существовать. Познание не движется в сторону человечности.

Однако бывают паузы ясности, возрождения знания, кризисы безжалостного взгляда, которые ставят его в странное положение любви. Тогда ему хочется лечь посреди улицы, целовать подошвы смертных, развязывать ремни торговцам и нищим, ползать по всем ранам и кровоточащим язвам, подвесить ко взгляду преступника голубиные крылья²⁸ — стать последним человеком из любви!

²⁸ Рум. *aripi de porumb. Porumb* — по-румынски «кукуруза», а голубь — *porumbel*, но в трансильванской деревне *porumb* — означает «голубь», таким образом, *aripi de porumb* — «крылья голубя» (а не кукурузы, как было бы в остальной Румынии), следовательно, смысл: прикрепить ко взгляду преступника голубиные крылья, то есть даровать убийце невинность, мир, способность к спасению [за помощь в интерпретации благодарю Анастасию Соловьеву. — Прим. Р. Г.].

Знание людей и отвращение к ним делают психолога, волей-неволей, жертвой собственных трупов. Ибо для него всякая любовь есть искупление. Люди, которых уничтожило твое познание, умирают в тебе; жертвы твоего презрения гниют в твоём сердце. И все это кладбище оживает в бреде любви, в спазмах твоего искупления!

Возвышенное — это несоизмеримое как внушение смерти. Море, отречение, горы и орган — по-разному и все же одинаково — являются увенчанием конца, который, хотя и совершается во времени, его разрушение находится все же за его пределами. Ибо возвышенное есть временной кризис вечности.

То, что возвышенно в примере Иисуса, проистекает из блуждания вечности во времени, из ее безмерной деградации. Однако все, что является целью в существовании Спасителя, смягчает идею возвышенного, которая исключает этические намеки. Если он снизошел добровольно, чтобы спасти нас, тогда он может интересоваться нами лишь постольку, поскольку мы эстетически вкушаем этический жест. Напротив, если его прохождение среди нас — всего лишь ошибка вечности, бессознательное искушение смерти совершенством, искупление абсолюта во времени, тогда огромные пропорции этой бесполезности разве не возвышаются под знаком возвышенного? Пусть эстетика спасет крест как символ вечности.

Нет большего наслаждения, чем верить, что ты был философом — и больше им не являешься.

Страдать — значит медитировать над ощущением боли: философствовать — значит медитировать над этой медитацией.

Страдание — это руина понятия; лавина ощущений, которая запугивает любую форму.

Все в философии — второго, третьего ранга... Ничего непосредственного. Система строится из производных, сама являясь производным по преимуществу. А философ — не более чем косвенный гений.

Мы не можем быть столь щедры к самим себе, чтобы скупиться на свободу, которую мы себе предоставляем. Если бы мы не ставили себе препятствий, сколько раз каждое мгновение было бы лишь выживанием? Не остаемся ли мы нередко самими собой только благодаря идее наших границ? Жалкое воспоминание о прежней индивидуализации, лоскут собственной индивидуальности... Как если бы мы были предметом, ищущим себе имя в природе без тождества. Человек создан — как и всякое живое существо — по мере определенных ощущений. Но случается, что они уже не уступают места друг другу в нормальной последовательности, а все разом налетают в стихийной ярости, роятся вокруг обломка полноты, который есть Я. Где тогда место для пятна пустоты, которое есть сознание?

В Шекспире столько преступлений и поэзии, что его драмы кажутся замысленными безумствующей розой.

Сколько бы горечи ни было в нас, ее не настолько много, чтобы она могла избавить нас от горечи других. Вот почему чтение французских моралистов в поздние часы — бальзам. Они всегда знали, что значит быть одиноким среди людей; редко встречается одиночество в мире. Даже Паскаль не смог победить свое положение человека, изъятая из общества. Будь страдание чуть меньшим, мы зафиксировали бы лишь великий ум. Между французами и Богом всегда вставал салон.

Две вещи непрестанно наполняли меня метафизической истерией: часы, которые стоят, и часы, которые идут.

Чем меньше тебя интересуют люди, тем более робким ты перед ними становишься; а когда начинаешь их презирать, начинаешь заикаться. Природа не прощает тебе ни одного шага за пределы бессознательного и следит за всеми твоими тропами гордыни, устилая их сожалениями. Как иначе объяснить, что с любой победой над человеческим состоянием связана соответствующая доля сожаления?

Робость придает человеческому существу нечто от сокровенной сдержанности растений; а духу, взволнованному собой, — покорную меланхолию, которая кажется меланхолией растительного мира. Я завидую лилии лишь тогда, когда не робею.

Если бы страдание не было орудием познания, самоубийство было бы обязательным. И сама жизнь — со своими раздирающими бесполезностями, со своей темной животностью, которая держит нас в заблуждениях, чтобы время от времени вздернуть нас на какой-нибудь истине, — кто мог бы ее вынести, если бы она не была единственным зрелищем познания? Переживая опасности духа, мы утешаемся интенсивностями из-за отсутствия окончательной истины.

Всякая ошибка — это бывшая истина. Однако нет изначальной ошибки, ибо расстояние между истиной и ошибкой отмечено лишь пульсацией, внутренней энергией, тайным ритмом. Таким образом, ошибка — это истина, у которой больше нет души, истина изношенная, ожидающая, чтобы ее оживили.

Истины умирают психологически, а не формально; они сохраняют свою значимость, продолжая не-жизнь форм, хотя могут уже не быть значимыми ни для кого.

Все, что есть в них жизни, происходит во времени; формальная вечность помещает их в категориальный вакуум.

Как долго «держится» истина для человека? Не дольше, чем пара ботинок. Только нищие никогда их не меняют. Но раз ты наравне с жизнью, ты должен постоянно обновляться, ибо полнота существования измеряется суммой накопленных ошибок, количеством экс-истин.

Ничто из того, что мы знаем, не остается неискупленным. Всякий парадокс, смелость мысли или нескромность духа мы оплачиваем дорого, раньше или позже. Есть странное очарование в этом наказании, следующем за всяким прогрессом познания. Ты разорвал покров, скрывавший бессознательность природы? Ты искупишь это печалью, источника которой не узнаешь. У тебя вырвалась мысль, полная переворотов и угроз? Есть ночи, которые могут быть заполнены лишь движениями раскаяния. Ты задал слишком много вопросов Богу? Тогда зачем удивляться тяжести ответов, которых ты не получил?!

Косвенно, через последствия, познание есть акт религиозный.

Мы с наслаждением искупаем дух, и со всей покорностью неизбежному. Поскольку детоксикация от познания невозможна — организм требует его и неспособен довольствоваться малыми дозами, — превратим и рефлекс в рефлексию. Так бесконечная жажда духа находит себе равноценное искупление.

Культ красоты похож на деликатную трусость, на тонкое дезертирство. Не любишь ли ты ее потому, что она освобождает тебя от жизни? Под впечатлением сонаты или пейзажа мы избавляемся от жизни с улыбкой болезненной радости и мечтательного превосходства. Из центра красоты все остается позади нас, и смотреть на жизнь мы можем лишь обернувшись. Всякое бескорыстное чувство, не связанное непосредственно с существованием, замедляет ход сердца. Ибо что еще может отме-

чать орган времени — сердце — в воспоминании вечности, которой является красота?!

Все, что не принадлежит времени, задерживает наше дыхание. Тени вечности, склоняющиеся всякий раз, когда одиночество вдохновлено зрелищем красоты, перехватывают нам дыхание. Как будто мы осквернили бы беспредельность парами нашего дыхания!

Когда все, к чему бы я прикоснулся, становилось бы печальным; когда украдкой брошенный взгляд к небу придавал бы ему цвет скорбей; когда рядом со мной не было бы сухих глаз, и я шел бы по бульварам, как по терновнику, ибо следы моих шагов впитывали бы солнце, опьяняясь болью, — тогда я имел бы право и гордость утверждать жизнь. Всякое утверждение имело бы на своей стороне свидетельство бесконечного страдания, а всякая радость — опору горечей. Уродливо и пошло извлекать жизнеутверждение из того, что не есть полнота зла, боли и скорби. Оптимизм — унижительный аспект духа, ибо он не исходит из лихорадки, высот и головокружений. Так же и страсть, которая не черпает силу из теней жизни. В плевке, в мусоре, в безымянной грязи переулков лежит источник чище и бесконечно плодovitее, чем кроткое и разумное причастие жизни. У нас довольно вен, по которым могут восходить истины, довольно вен, в которых идет дождь, снег, дует ветер, заходят и восходят солнца. И разве в нашей крови не заложено стремление звезд вновь засиять?

Нет места под Солнцем, которое могло бы меня удержать, и нет тени, которая могла бы меня укрыть, ибо пространство становится парообразным в порыве скитания и в ненасытном бегстве. Чтобы остаться где-либо, чтобы иметь свое «место» в мире, нужно совершить чудо: однажды оказаться в какой-то точке пространства, не со-

гбенным горечами. Когда ты находишься в одном месте, ты лишь думаешь о другом, так что ностальгия органически оформляется как вегетативная функция. Желание иного из духовного символа становится природой.

Будучи выражением жадности к пространству, ностальгия в конце концов уничтожает само пространство. Тот, кто страдает только страстью к Абсолюту, не нуждается в этом горизонтальном скольжении по протяженностям. Неподвижное существование монахов имеет своим источником вертикальное направление — к небу — к смутным дарам тоски по вечно иным местам и иным далям. Религиозное чувство не ждет утешения от пространства; более того, оно интенсивно лишь постольку, поскольку превращает пространство в сцену падений.

Когда нет места, где бы ты не страдал, какой еще довод можно привести в пользу скитания? И что будет связывать тебя с пространством, когда темная лазурь ностальгии отвязывает тебя от самого себя?

Если бы человек не умел вносить сладострастный бред в одиночество, тьма давно бы вспыхнула.

Самое ужасное разложение на незнакомом кладбище — лишь бледная тень того одиночества, в котором ты находишься, когда из воздуха или из-под земли неожиданный голос сообщает тебе, насколько ты одинок.

Не иметь никого, кому можно было бы хоть что-нибудь сказать! Только предметы, ни одного существа. И бедствие одиночества рождается лишь из чувства, что ты окружен неодоушевленными вещами, которым тебе нечего сказать.

Не из причуды и не из цинизма бродил Диоген с фонарем среди бела дня, ища человека. Мы слишком хорошо знаем, что это было от одиночества...

Когда ты не можешь собраться с мыслями и подчиниться их живому серебру — подобно пару, мир рассеивается, а вместе с ним и ты сам, и кажется, что ты слушаешь на краю отступившего моря чтение своих собственных воспоминаний, написанных в другой жизни... Куда устремляется разум, в каком никуда он стирает свои границы? Тают ли ледники в жилах? И в каком времени года крови и духа ты находишься?

Ты все еще ты сам? Не бьются ли твои виски от противоположного страха? Ты другой, ты другой...

С глазами, устремленными к иному, в непорочной меланхолии парков.

О чем угодно — и прежде всего об одиночестве — ты обязан мыслить отрицательно и положительно одновременно.